

МАКСИМОВИЧ ЖЕЛЬКО

# АИ, НИКОЛАЙ 2

— ВЕРСИЯ 1 —



# Желько Максимович

## АИ, Николай 2 версия 1

*<https://litres.ru/74287604>*

*SelfPub; 2026*

### Аннотация

19 ноября 1916 года. Царское Село, Александровский дворец, Малахитовая гостиная. Час пополуночи. На столе — оплывшая свеча. За столом — четверо мужчин и одна женщина. Государь Император Николай II зачитывает вслух Макиавелли: «...и нет для государя опасности большей, чем нежелание видеть опасность вовремя».

Сто десять лет спустя, в июле 2026-го, безымянный аналитик Имперской публичной библиотеки перечитывает восемь документов эпохи и пишет на полях: «В точке бифуркации ты никогда не знаешь. Ты считаешь вероятности. Ты моделируешь сценарии. Но в последний момент — ты просто выбираешь. И оправдание или обвинение приходят потом, через поколения, когда ни тебя, ни твоих судей уже нет».

В реальной истории это совещание никогда не состоялось. В реальной истории Николай II отрёкся от престола в марте 1917-го, а Россия рухнула в гражданскую войну. Но в этой реальности — иной расклад.

# Желько Максимович АИ, Николай 2 версия 1

Империя не избежала надлома. Она отложила его на три поколения — с процентами. И когда он наступил, платить пришлось не тронем, а цивилизацией.

— Из закрытого доклада 5-го отдела Генерального штаба, 1989 г. Альтернативная реальность.

Точка бифуркации: 19 ноября 1916 года (по старому стилю)

Стратегическая метка: 19.11.1916, 23:47. Царское Село, Александровский дворец. Уровень: 5-й этаж власти. Горизонт планирования: 100 лет. Аналитическая записка № 1: решение принято. Вероятность избегания немедленного коллапса: 72%. Вероятность отложенного надлома в третьем поколении: 91%.

## ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Пётр Аркадьевич Ланской, 48 лет

5-й этаж. Геостратег. В нашей реальности — не существует; в этой — начальник Аналитического отдела Генераль-

ного штаба, затем глава Имперского стратегического совета. Человек, рассчитавший, что сепаратный мир с Германией и немедленные реформы — единственный способ избежать крушения. Его бремя: он знал, что отсрочка — это не спасение, а кредит под чудовищный процент. Но другого выхода не было.

Хирон системы: Ланской потерял сына на фронте в 1915-м и с тех пор не позволял себе ни одной эмоции, не прошедшей стратегический фильтр. Его холодность — не бессердечие, а гигиена выживания.

Граф Сергей Илларионович Вяземский, 52 года  
3-й этаж. Промышленник, глава консорциума Вяземский и партнёры — уральские заводы, бакинские нефтепромыслы, контроль над военными поставками. В нашей реальности — эмигрировал бы в Париж и спился. В этой — стал теневым архитектором реформ спасения, потому что понимал: падение Империи обнулит и его капиталы.

Его логика проста: Армия без снарядов — толпа. Заводы без заказов — груда металла. Дайте мне ответственное министерство, и я дам вам ответственное производство. Его ошибка: он считал, что купил систему. Система купила его.

Ротмистр Александр фон Мекк, 29 лет

4-й этаж. Офицер Особого отдела Департамента полиции. Остзейский немец на русской службе. В нашей реальности — расстрелян в подвале ЧК в 1918-м. В этой — человек, лично обеспечивший тишину в столице в критические дни ноября 1916-го: аресты, нейтрализация, спецоперации без документов.

Его драма: абсолютная верность престолу при полном понимании, что престол — всего лишь символ, за которым стоят люди вроде Ланского и Вяземского. Фон Мекк — идеальный инструмент. Инструменты не спрашивают. До поры.

Княжна Елизавета Дмитриевна Шаховская, 26 лет  
1-й и 5-й этажи одновременно. Фрейлина императрицы, негласный курьер между Царским Селом и Ставкой. В нашей реальности — умерла от тифа в 1919-м. В этой — женщина, через которую прошли все ключевые документы ноября 1916-го.

Её уникальность: она единственная, кому доверяла и Александра Фёдоровна, и военные, и реформаторы. Никто не воспринимал её как угрозу — и это делало её самой опасной фигурой на доске. Её личная война: она любит человека, которого однажды должна будет предать по долгу службы. Она ещё не знает об этом.

Государь Император Николай Александрович, 48 лет

Все этажи — и ни один. Точка, в которой сходятся все линии. В нашей реальности — отрёкся в марте 1917-го. В этой — не отрёкся. Принял план Ланского. Подписал сепаратный мир. Утвердил ответственное министерство. И тем самым подписал себе приговор — не физический, но исторический: он остался на троне, но перестал быть самодержцем в том смысле, в каком им был его отец.

Его трагедия: он спас династию, пожертвовав её сакральностью. И следующие тридцать лет будут спорить — спас он Россию или отсрочил её конец.

## ДОКУМЕНТ ПЕРВЫЙ: РЕШЕНИЕ

Тёмный Петроград

### 1. Свеча

Она помнила запах — не видения, не лица, не слова, а именно запах. Свечное сало, нагретый воск, сырость дворцовых стен, проступающая сквозь малахитовую облицовку, как пот проступает сквозь кожу умирающего. И что-то ещё — тонкое, почти неразличимое, металлическое. Так пахнет воздух перед грозой. Или кровь, ещё не пролитая.

Ей было семь лет, когда она впервые почувствовала этот запах. Сорок три — когда поняла, что он означает.

Сейчас ей восемьдесят четыре. Она сидит у окна в комнате с высокими потолками — тоже дворцовыми, но не теми, не александровскими, — и смотрит, как снег заносит парк. Где-то далеко, за тридевять губерний от её кресла, внуки и правнуки решают судьбу империи, которую она помогла удержать. Они не знают. Никто не знает — кроме неё, да ещё, может быть, пары архивных крыс, которым позволено дышать в хранилищах с грифом Вечность.

Она помнит свечу. Оплывшую, кривую, с неровным пламенем. Она стояла на столе в Малахитовой гостиной, и когда Ланской говорил о голоде, а Вяземский — о британских кредитах, пламя даже не дрожало. Воздух в комнате был мёртв — так бывает, когда слишком много людей задерживают дыхание.

Она не должна была там находиться. Совещание — пятый этаж, высший допуск, только члены Совета государственной обороны. Но Государь настоял: Елизавета Сергеевна будет стенографировать. Я не хочу, чтобы кто-то потом сказал, что его неправильно поняли. Формальность. Предлог. Николай Александрович доверял ей больше, чем иным министрам, — она знала это и тяготилась этим знанием. Доверие само-

держца — не награда, а приговор, особенно когда самодержец стоит на краю.

Она села в углу, за отдельным столиком, достаточно далеко, чтобы не мозолить глаза, и достаточно близко, чтобы слышать каждое слово. Перед ней лежала стопка гербовой бумаги и два остро заточенных карандаша. Она записывала всё — каждую реплику, каждую паузу, каждое движение. Она записывала даже то, чего не говорили вслух. Этому не учат в стенографических школах. Этому учит жизнь при Дворе.

Сейчас, почти полвека спустя, она перечитывает свои записи. Жёлтая бумага шуршит под пальцами, и ей кажется, что она снова там — в той комнате, в том ноябре, в том воздухе, пропитанном свечным салом и ещё не пролитой кровью.

Она перечитывает — и не узнаёт себя.

Нет, не так.

Она не узнаёт историю, которую, как ей казалось, она записала.

## 2. Карта

Империя — это карта. Всегда была.

В Генеральном штабе, куда Елизавету Сергеевну допустили через две недели после назначения Шувалова, висела карта Западного фронта — пять аршин в ширину, три в высоту, с булавками, флажками, пунктирными линиями предполагаемых наступлений. Каждый вечер адъютанты переставляли булавки на несколько миллиметров влево или вправо — и каждый вечер она видела одно и то же: Восточный фронт медленно, неумолимо сдвигается на восток. Не на запад — на восток.

Империя — это карта. Но когда Ланской заговорил о февральском голоде, она увидела другую карту. Без булавок и флажков. Без линии фронта — или, вернее, с линией фронта, проходящей не по Карпатам, а по Невскому проспекту. Очередь за хлебом — вот новая линия фронта. Женщина, которая стоит в этой очереди четвёртый час, — вот новая армия. Армия, которая не получает приказов, не носит погон, не приносит присяги, но способна смести всё — и Генеральный штаб, и Александровский дворец, и саму идею порядка, — если ей нечего будет поставить на стол.

Она видела эту карту так ясно, будто её нарисовали перед ней на гербовой бумаге. Петроград — Москва — Киев — Харьков — Одесса. Узлы снабжения. Железнодорож-

ные ветки, забитые военными эшелонами. Продовольственные склады, пустые на две трети. И даты: ноябрь — перебои, декабрь — нормирование, январь — голодные очереди, февраль — первые погромы. Ланской называл эти даты; она записывала их, и карандаш не дрожал в её пальцах, хотя внутри всё сжималось.

Она не была экономистом. Она не была стратегом. Она была женщиной, которая слишком много знала — по роду службы, по близости к трону, по привычке слушать и запоминать. И она понимала: карта, которую она видит внутренним зрением, — не предсказание. Это диагноз.

Империя больна. Болезнь запущена. Лекарство должно быть горьким — или его не будет вовсе.

Ланской предлагал горькое лекарство. Мир с Германией. Ответственное министерство. Перевод промышленности на мирные рельсы. Фон Мекк, который должен был сделать столицу тихой — она знала, что это значит, и не осуждала. Когда корабль тонет, сначала задраивают переборки. Даже если за переборками остаются люди.

Она смотрела на Николая Александровича и думала: понимает ли он? Он слушал — она видела, что он слушает по-настоящему, не просто кивает, ожидая своей реплики. Но

слышит ли? Понимает ли, что Ланской говорит не о политике, а о выживании? Не о величии — о сохранении?

Когда Ланской произнёс слово династия, что-то изменилось в лице Государя. Елизавета Сергеевна записала: Пауза. 82 секунды. Эти 82 секунды стоили больше, чем все речи, произнесённые до и после. За эти 82 секунды самодержец Всероссийский принял решение, которое его предки не принимали триста лет. Он согласился ограничить собственную власть — не потому, что хотел, а потому что иного выхода не осталось.

Вот пусть наши внуки и платят. А мы дадим им шанс.

Она записала эти слова. И много лет спустя, сидя у окна и глядя на снег, она думала: расплатились ли внуки? Или счёт ещё не пришёл?

### 3. Шувалов

Военного министра она знала меньше трёх недель — с момента его назначения. Шувалов был человеком без биографии — так говорили в коридорах, и это была неправда. Биография у него была, и весьма подробная: корпус, академия Генштаба, Туркестан, японская кампания, три ранения, два ордена, командование дивизией на Юго-Западном фронте.

Но придворные не интересовались Туркестаном. Придворные интересовались, чей он родственник и кому обязан назначением. А он был ничей. Ланской нашёл его где-то в окопах, вытащил, отряхнул от грязи и поставил перед Государем: Вот человек, который удержит армию. И Государь поверил. Не потому, что Шувалов был убедителен — он говорил мало, глухо, смотрел в стол. А потому, что больше верить было некому.

За те три недели, что Елизавета Сергеевна его знала, он произнёс при ней, может быть, слов двести. Но каждое слово весило. Он не умел льстить, не умел интриговать, не умел говорить то, что от него хотели услышать. Он умел только одно: оценивать обстановку и принимать решения. Военный инженер человеческих судеб — она мысленно называла его так, хотя никогда не произнесла бы вслух.

В тот вечер он заговорил только один раз — когда Государь прямо спросил его мнения. И сказал ровно четырнадцать слов: Армия выполнит приказ. Если приказ будет о мире. О наступлении — не уверен.

Четырнадцать слов. Но за ними стояло всё: месяцы в окопах, горы трупов, разбитые батареи, снаряды, которых хватало на четыре дня боёв, солдаты, которые уже не верили ни в Бога, ни в царя, ни в победу — но ещё верили в мир. Мир

был последней валютой, которую принимала армия. И Шувалов это знал.

Елизавета Сергеевна записала его слова — и на полях, едва заметно, поставила крестик. Она всегда так делала, когда слышала что-то, что казалось ей важнее произнесённого.

Позже, много позже, она узнает, что в ту же ночь Шувалов отправил шифровку командующим фронтами — не приказ, не директиву, а личное, неофициальное послание: Готовьте части к прекращению огня. Никаких самовольных действий. Ждать. Это было превышением полномочий. Это было нарушением субординации. Это было единственно верным решением.

Но тогда, в Малахитовой гостиной, она этого ещё не знала. Она только видела, как генерал тяжело опустился в кресло после своих четырнадцати слов, как провёл ладонью по лицу — усталым жестом человека, который не спал много ночей подряд, — и как его пальцы едва заметно дрожали. Не от страха. От напряжения. Он только что сказал самодержцу Всероссийскому, что армия не пойдёт в наступление. Такие слова не забываются. Такие слова не прощаются — если ты ошибся.

Он не ошибся.

#### 4. Штюмер

Борис Владимирович Штюмер был человеком уходящей эпохи. Елизавета Сергеевна понимала это с той минуты, как он заговорил, — с его высокопарным Это бесчестье, с его апелляцией к Антанте, к союзническому долгу, к чести русского оружия. Он говорил так, будто за окном был не ноябрь шестнадцатого, а август четырнадцатого — месяц, когда всё казалось ясным, когда враг был врагом, союзник — союзником, а война — благородным предприятием, которое завершится к Рождеству.

Но за окном был ноябрь шестнадцатого. И Штюмер должен был знать это лучше других — он был министром иностранных дел, он читал депеши из Лондона и Парижа, он видел цифры. Он знал, что Антанта не даёт кредитов. Он знал, что британский флот не войдёт в Проливы — не для того, чтобы помочь России, а для того, чтобы занять их раньше, чем это сделает кто-то другой. Он знал — и продолжал говорить о чести.

Елизавета Сергеевна не испытывала к нему неприязни. Она испытывала нечто более горькое — жалость. Штюмер был не глуп, не труслив, не продажен. Он был стар. Не возрастом — душой. Он принадлежал к тому поколению санов-

ников, которые верили в силу международных договоров, в нерушимость союзов, в то, что слово монарха значит больше, чем золотой запас. И он не мог — отказывался — видеть, что мир, в котором он жил, уже рухнул. Что Антанта давно ведёт свою игру, в которой Россия — не союзник, а фигура на доске. Что честь — слишком дорогая валюта, когда народ голодает.

Когда Ланской произнёс своё жестокое: Антанта расценит наш труп как удобную возможность, — Штюмер вздрогнул. Не оттого, что услышал неправду. Оттого, что услышал правду, которую сам себе не решался произнести.

Она записала его возражение — короткое, почти формальное. И записала ответ Ланского. И увидела, как Штюмер опустил глаза. Он не спорил больше. Он понял.

Именно ему Государь поручил самое страшное: контакты с Берлином. Через Стокгольм, через тайные каналы, через людей, чьих имён Елизавета Сергеевна не знала и не хотела знать. Штюмер принял поручение молча. Она видела его лицо в этот момент — лицо человека, который только что переступил через всё, во что верил, и ещё не знает, что ждёт его по ту сторону.

Он выполнил поручение. Через три недели первые эмис-

сары встретятся в стокгольмском отеле — нейтральная территория, нейтральные лица, нейтральные слова. А ещё через месяц Брест-Литовск станет не символом поражения, а символом спасения. Но это будет потом.

Сейчас, в Малахитовой гостиной, он сидел молча, и желваки ходили на его скулах, и Елизавете Сергеевне вдруг пришло в голову, что он похож на человека, который только что подписал собственный приговор — и знает это.

## 5. Вяземский

Князь Вяземский говорил цифрами. Это была его защита, его броня, его способ существования в мире, где слова слишком легко становились ложью. Он не произносил речей. Он не взывал к чувствам. Он выкладывал на стол факты, как хирург выкладывает инструменты перед операцией.

Объём военных заказов британской короне, размещённых на заводах Соединённых Штатов, в прошлом месяце превысил совокупный кредит, обещанный России. Они финансируют собственную промышленность, а нас кормят обещаниями.

Сухо. Бесстрастно. Убийственно.

Елизавета Сергеевна записала эти цифры — и записала примечание на полях: Проверить. Она всегда проверяла. Через два дня она получит доступ к сводкам Министерства финансов и убедится: Вяземский был прав. Более того — он смягчил картину. Реальность была хуже: британские заказы в США превышали российские кредиты не на проценты, а в разы. Лондон платил долларами за американскую сталь — и фунтами стерлингов за русскую кровь.

Вяземскому было сорок два года. По меркам тогдашней политической элиты — почти юноша. Он принадлежал к новому поколению — к тем, кто вырос не на идеях Священного союза, а на бухгалтерских книгах и биржевых сводках. Он понимал, что война — это не только пушки и манёвры, но и кредитные линии, и фрахтовые контракты, и производственные мощности. И он понимал то, чего не понимал Штюмер: союзников не интересует наша победа. Союзников интересует наша слабость — достаточно долгая, чтобы мы не вышли из войны, и достаточно глубокая, чтобы мы не диктовали условий после неё.

Он не предлагал конкретных решений в тот вечер. Он только предоставил данные. Но данные эти были страшнее любых предложений: они означали, что война проиграна не на полях сражений, а в банковских конторах и министерских кабинетах. Что Россия истекает кровью не потому, что враг

сильнее, а потому, что союзники этого хотят.

Позже, когда Государь поручил ему перевод промышленности на мирные рельсы, Вяземский кивнул — коротко, деловито, будто речь шла о квартальном отчёте. Но Елизавета Сергеевна заметила, как у него дрогнула рука, когда он поправлял бумаги. Он понимал масштаб задачи. Никто в империи не переводил промышленность с военных рельс на мирные — во всяком случае, не в таких масштабах и не в такие сроки. Это была работа на годы — а у них были недели. И он знал, что если не справится, то все остальные решения — мир с Германией, ответственное министерство, тишина в столице — потеряют смысл. Потому что без хлеба, без угля, без работы мирная Россия взорвётся быстрее, чем воюющая.

Он справился. Не сразу, не без ошибок, не без потерь. Но справился.

## 6. Ланской

Граф Ланской был центром этого совещания, его осью, его движущей силой. Говорили, что он готовился к этому разговору несколько месяцев — собирал цифры, сводил доклады, плел невидимую сеть, которая в нужный момент стянулась вокруг трона. Говорили, что без него Государь никогда не решился бы. Говорили разное.

Елизавета Сергеевна знала его достаточно давно, чтобы не верить слухам. Она знала другое: Ланской был человеком, который видел дальше других — не потому, что был умнее (хотя ума ему было не занимать), а потому, что не боялся смотреть. Он не отворачивался от неприятного. Он не прятался за формулами и эвфемизмами. Он называл вещи своими именами — и в этом была его сила, и в этом же была его уязвимость. Такие люди либо выигрывают всё, либо проигрывают всё. Третьего не дано.

В тот вечер он выигрывал.

Я изложу без дипломатии. Времени на неё нет.

С этих слов он начал — и за ними стоял опыт последних месяцев. Ланской пытался говорить дипломатично — пытался мягко, обиняками, через третьих лиц. И видел, как его слова тонут в протокольной трясине, как решения откладываются на недели, как драгоценное время уходит, утекает, как вода сквозь пальцы. Теперь он решил иначе. Теперь он бил прямо — и каждый его удар достигал цели.

К февралю — массовый голод в столицах.

К марту — стихийные бунты.

Запас снарядов на Юго-Западном фронте — четыре дня

активных боёв.

Союзники не дают нам ни кредитов, ни проливов.

Она записывала эти фразы и чувствовала, как воздух в комнате становится плотнее. Ланской говорил — и каждое его слово ложилось на стол, как гиря. Не метафора. Реальная тяжесть.

Я предлагаю Вам сохранить династию. Самодержавие в текущем виде не доживёт до весны. Династия — доживёт. Если мы действуем сейчас.

Он произнёс это — и Елизавета Сергеевна увидела, как вздрогнули даже те, кто, казалось, разучился вздрагивать. Предложить самодержцу ограничить самодержавие — для этого требовалась не только смелость. Для этого требовалось нечто большее: готовность принять на себя ответственность за сказанное. Ланской был готов.

Позже, перечитывая стенограмму, она обратила внимание на деталь, которую не заметила в тот момент: Ланской ни разу не повысил голоса. Он говорил ровно, спокойно, почти монотонно — как врач, излагающий диагноз смертельно больному. Он не уговаривал, не убеждал, не давил. Он просто излагал факты — и факты говорили за него.

И ещё одно. Когда совещание закончилось и все начали расходиться, Ланской на мгновение задержался у двери. Она видела его лицо в этот момент — лицо человека, который только что сдвинул гору и ещё не верит, что она сдвинулась.

Он поймал её взгляд. Кивнул — едва заметно. И вышел.

Она поняла этот кивок. Записали? Хорошо. Это должно остаться. Она сохранила.

## 7. Тишина

Фон Мекк. Столица должна быть тиха. Очень тиха.

Елизавета Сергеевна записала эти слова — и поставила на полях ещё один крестик, на этот раз жирный, почти прорывающий бумагу. Она знала, что такое тишина в исполнении Отдельного корпуса жандармов. Знала — и не осуждала. Более того: в глубине души она была согласна.

Существовал старый спор — из тех, что ведутся в гостиных, а не на совещаниях, — спор о цене. Сколько жизней стоит империя? Имеет ли право власть жертвовать одними ради спасения других? Ответ зависел от того, кому адресован вопрос. Идеалисты говорили: ни одной. Реалисты говорили: считайте.

Фон Мекк был реалистом. Он понимал: если столица взорвётся сейчас — взорвётся всё. Не будет ни мира с Германией, ни ответственного министерства, ни династии. Будет хаос, гражданская война, распад. И жертв будет не в десятки — в миллионы раз больше. Поэтому он сделает то, что должен: усилит патрули, ужесточит цензуру, возьмёт под наблюдение всех, кто способен возглавить беспорядки. Тишина — эвфемизм. Но за эвфемизмом стоял точный, холодный, безжалостный расчёт.

Она не знала подробностей — ей не полагалось. Но она слышала потом, много позже, что в те дни, когда столица стояла на грани, фон Мекк спал по три часа в сутки и лично подписывал каждое распоряжение. Он знал, что история не простит ему этой тишины. И делал своё дело.

История действительно не простила. Но империя устояла.

Сейчас, спустя почти полвека, она читает в газетах полемику — те самые споры, которые когда-то велись в гостиных. Была ли необходима тишина образца шестнадцатого года? Можно ли было обойтись без неё? Она не участвует в этих спорах. Она слишком стара, чтобы кому-то что-то доказывать. Но когда внуки и правнуки спрашивают — а они иногда спрашивают, — она отвечает одно: Мы сделали то, что

должны были. Не больше. И не меньше.

Они не понимают. Они выросли в другом мире — в мире, где хлеб есть на прилавках, где армия не стоит на пороге голодного бунта, где не нужно выбирать между самодержавием и династией. Они смотрят на неё и видят старуху в кресле, а не женщину, которая сидела в углу Малахитовой гостиной и записывала каждое слово, зная, что эти слова изменят империю.

Империю. Не историю. Историю меняют другие — те, кто пишет учебники через пятьдесят лет. А тогда, в шестнадцатом, они меняли империю.

## 8. Видение первое: Голод

Иногда — всё чаще в последние годы — время теряло для неё свою линейность. Она могла сидеть в кресле, глядя на снег за окном, и внезапно оказываться в другом ноябре. В том ноябре. В Малахитовой гостиной.

Или не в гостиной.

Она шла по Петрограду — не старухой восьмидесяти четырёх лет, а молодой женщиной, которой она была тогда, сорок три года, возраст зрелости и силы. Шла по Невскому —

только Невский был не тот, что она помнила. Булыжная мостовая исчезла, и вместо неё — снежная каша, перемешанная с грязью, с отбросами, с чем-то, о чём не хочется думать. Фонари не горели — электричество отключили уже неделю назад. Только редкие керосиновые лампы в окнах да тусклый свет из подворотен.

Очередь. От Александровского сада до Литейного — сплошная, серая, колышущаяся масса. Женщины. В основном женщины. Дети — те, кто постарше, держат матерей за юбки. Мужчин почти нет — они в окопах или на заводах.

Хлеб должны были привезти в шесть утра. Сейчас десять, а хлеба всё нет. И женщины стоят — стоят пятый час на ноябрьском ветру, и их лица белы от холода, и их глаза пусты от голода. Они не ропщут — ещё нет. Но тишина эта страшнее любого крика. Тишина эта — предвестие.

Она идёт вдоль очереди, и никто её не замечает. Она — тень, видение, гостья из другого времени. Она хочет что-то сказать этим женщинам — но что? Что через три недели всё изменится? Что мир с Германией принесёт хлеб? Что империя устоит? Они не поймут. Для них есть только здесь и сейчас: холод, тьма, пустые прилавки и дети, которые спрашивают, когда будет еда.

Она просыпается — если это можно назвать пробуждением — и снова сидит в кресле. Снег за окном. Тишина. Покой.

Но запах — запах той очереди, запах голода, запах отчаяния — остаётся с ней ещё долго.

## 9. Видение второе: Окоп

Ей снились окопы. Не те, что она видела на картах в Генеральном штабе, — аккуратные, расчерченные цветными карандашами линии. Настоящие. Ходы сообщения, залитые жидкой грязью. Брустверы, осыпающиеся под дождём. Блиндажи, где люди спят вповалку, прижавшись друг к другу, потому что так теплее.

И лица. Солдатские лица — молодые и старые, русские и украинские, татарские и польские. Лица, которые она никогда не видела наяву, но которые приходили к ней во сне снова и снова.

Они не говорили с ней. Они просто смотрели — с укором, с надеждой, с тем выражением загнанных лошадей, которое бывает у людей, слишком долго пробывших на войне. И она не могла им ответить. Она могла только записывать — слова совещаний, слова министров, слова Государя. Слова, которые должны были вернуть этих людей домой.

Удалось ли?

Официальные сводки говорили: да. Мир был заключён в рекордные сроки. Демобилизация прошла организованно. Армия разошлась по домам, не взорвавшись, не выплеснув накопленную ярость на собственное правительство. Учебники писали: Своевременный выход из войны спас Россию от революционного хаоса.

Но сны говорили другое. Сны говорили о тех, кто не вернулся — о миллионах, оставшихся в галицийской земле. Сны говорили о тех, кто вернулся — но не совсем, не до конца, не теми людьми, что уходили. Сны говорили о цене.

Есть цена, которую платят деньгами. Есть цена, которую платят уступками. И есть цена, которую платят кровью. В шестнадцатом они платили кровью — и продолжали платить, даже когда мир был заключён. Потому что мир — это не точка в конце предложения. Это запятая. После неё всегда что-то следует.

## 10. Видение третье: Внуки

Вот пусть наши внуки и платят. А мы дадим им шанс.

Она записала эти слова в двадцать минут второго ночи — время она всегда фиксировала скрупулёзно. И долго потом вглядывалась в них, пытаясь понять: что имел в виду Государь? Что именно предстоит платить внукам?

Теперь она знает. Она прожила достаточно долго, чтобы увидеть эти платежи — один за другим, год за годом, десятилетие за десятилетием.

Первый платёж пришёл в двадцатых. Мир с Германией спас империю, но оставил шрамы. Поколение, прошедшее войну, — миллионы мужчин, видевших смерть, — не могло просто вернуться к плугу и станку. Они принесли с собой что-то, чего раньше не было в русской деревне: угрюмое, тяжёлое знание. Знание того, что власть может ошибаться. Что приказы могут вести не к победе, а к бессмысленной гибели. Что государство — не Бог, не царь, не отец. Государство — это люди, которые принимают решения. И решения эти могут быть чудовищны.

Из этого знания выросло новое крестьянство — не то, что шло за барином, не то, что верило в царя-батюшку. Крестьянство, которое требовало земли, прав, голоса. Аграрные волнения двадцатых годов были не так драматичны, как то, что могло случиться в семнадцатом, но они были — и подавлять их пришлось ценой немалых уступок.

Второй платёж — тридцатые. Промышленность, перевернутая на мирные рельсы, росла, но росла неравномерно, рывками, создавая новые напряжения. Рабочие окраины Петрограда и Москвы превратились в котлы, где медленно закипало недовольство — не голодное, как в шестнадцатом, а иное: недовольство людей, которые работают по двенадцать часов и видят, как плоды их труда уплывают в карманы фабрикантов. Забастовки тридцать пятого года едва не переросли во всеобщую стачку — и только экстренные меры правительства (уже ответственного, уже думского) предотвратили худшее.

Третий платёж — сороковые. Вторая Европейская война, которую Россия встретила куда более подготовленной, чем Первую, но которая всё равно стоила немалой крови. Газеты писали о реванше за шестнадцатый год — красивый лозунг, за которым стояла всё та же грязь, всё те же окопы, всё те же похороны. Только теперь Россия воевала не за Проливы — а за то, чтобы германский сапог не стоял на её западных границах.

Четвёртый платёж — пятидесятые. Холодная война, раскол мира, гонка вооружений, страх атомной полуночи. Всё, от чего они пытались уйти в шестнадцатом, — только в иных масштабах, с иными ставками.

Пятый платёж — шестидесятые. Имперская усталость. Национальные движения на окраинах — Польша требовала независимости, которую ей пообещали и не дали (вернее — дали, но не такую, как она хотела). Кавказ бурлил. Средняя Азия роптала. Империя, слишком большая, чтобы быть управляемой из одного центра, медленно, но, верно, двигалась к федерализации.

Она видела всё это. Она записывала — уже не для архивов, не для истории, для себя. Дневники, которые никто никогда не прочитает.

И каждый раз, когда очередной платёж ложился на плечи нового поколения, она слышала голос Ланского: То, что мы снимем с повестки сейчас, вернётся через тридцать, сорок, пятьдесят лет. С процентами.

Он был прав, конечно. Он всегда был прав.

Но была ли альтернатива?

Она закрывает глаза — и видит другую Россию. Ту, которая не заключила мир в шестнадцатом. Ту, которая осталась в войне — ради чести, ради союзников, ради Проливов. Ту, в которой голодные бунты февраля семнадцатого переросли

в революцию. Ту, в которой династия пала. Ту, в которой Шувалов не отправил шифровку, а солдаты не подчинились приказу. Ту, в которой Имперский архив не существует, потому что не существует империи.

Эта Россия — не фантазия. Она стоит перед её внутренним взором с пугающей отчётливостью. Гражданская война, красный террор, белый террор, распад, миллионы смертей, десятилетия изоляции от мира. Россия, которая заплатила не процентами — телом.

И она понимает: да, альтернатива была. Гораздо страшнее.

Они выбрали меньшее из зол. Они дали внукам шанс — и внуки этим шансом воспользовались. Не идеально, не без потерь, не без ошибок. Но воспользовались.

## 11. Сорок седьмая минута

Хронология того вечера была ей известна до секунды. Она сама её создала — не в ту ночь, позже, когда переписывала стенограмму набело, сверяя пометки на полях с расстеленными на столе часами.

22:00. Начало.

22:07. Ланской начинает говорить о голоде и бунтах.

22:13. Первые цифры — Вяземский. Британские кредиты, американские заводы, четыре дня снарядов. Она записывает — и видит, как бледнеет Штюмер. Не от страха — от понимания.

22:20. Слово сепаратный. Произнесено — и повисает в воздухе. Никто не решается повторить его. Даже Ланской делает паузу — микроскопическую, на одно дыхание, но она её замечает. Он тоже боится этого слова. Но он его произносит — потому что больше некому.

22:28. Штюмер возражает. Бесчестье. Красивое слово. Бесполезное.

22:31. Ответ Ланского об Антанте. Труп как удобная возможность. Штюмер дёргается — она записывает: Дёрнулся. Не вздрогнул — дёрнулся, как от удара.

22:34. Вяземский с цифрами — уже второй раз за вечер. Британские заказы в США. Она знает, что он готовился к этому моменту. Цифры у него не на бумаге — в голове. Он мог бы разложить их по месяцам, по заводам, по контрактам. Но он даёт только общую картину — и этого достаточно.

22:41. Армия не поймёт. Государь произносит это — и она слышит в его голосе то, что слышит редко: сомнение. Он не защищается. Он спрашивает. Ему нужен ответ — и ответ должен быть убедительным.

22:42. Ответ Ланского. Армия поймёт мир. Она не поймёт ещё одну зиму в окопах без хлеба и патронов. И тогда она пойдёт не на Берлин, а на Петроград. Три фразы. Три удара. После них — тишина.

22:43. Пауза. 47 секунд. Первая долгая пауза за вечер.

Она считала. Она всегда считала паузы — это была её профессиональная привычка, выработанная годами. Пауза — это не отсутствие речи. Пауза — это форма речи, иногда более красноречивая, чем слова. 47 секунд. Государь смотрел на пламя свечи. Ланской ждал — неподвижно, как статую. Вяземский перебирал бумаги. Штюрмер теребил манжету — мелкое, нервное движение. Шувалов сидел с каменным лицом — он единственный из присутствующих, казалось, вообще не двигался.

47 секунд. Империя решала свою судьбу.

Потом Государь поднял глаза: Что ещё? — и совещание

продолжилось.

22:55. Ответственное министерство. Ланской бросает на стол вторую гирию — такую же тяжёлую, как первая. Может быть, тяжелее. Сепаратный мир — это тактика. Ответственное министерство — стратегия. Мир спасает империю сейчас. Министерство определяет, какой империя будет потом.

23:02. Вы понимаете, что означают эти слова? Она слышит в голосе Государя не гнев — боль. Он понимает. Он понимает лучше, чем кто бы то ни было. Он последний самодержец в длинной череде самодержцев, и сейчас его просят перечеркнуть три столетия российской государственности. Не из прихоти, не по слабости — ради выживания.

Но понимать — не значит принять.

23:04. Ланской: Я предлагаю Вам сохранить династию. Самодержавие в текущем виде не доживёт до весны. Династия — доживёт. Если мы действуем сейчас. Снова три фразы. Снова три удара. И снова пауза — на этот раз 82 секунды.

Она записывает каждую. Она не знает, будет ли кто-то когда-нибудь читать эту стенограмму. Но если будет — он должен знать: решение не далось легко. Решение стоило 82 секунд молчания.

23:06. Шувалов, ваше мнение.

23:07. Четырнадцать слов Шувалова. Армия выполнит приказ. Если приказ будет о мире. О наступлении — не уверен.

23:09. Хорошо. Готовьте документы. Решение принято.

Сорок седьмая минута — это не минута. Это эпоха. Всё, что было до неё, — подготовка. Всё, что после, — исполнение. Но сама минута — чистое, почти невыносимое по напряжению настоящее, в котором империя зависла между жизнью и смертью, между прошлым и будущим, между самодержавием и династией.

Она помнит каждую секунду этой минуты.

Государь смотрел на свечу. Пламя свечи отражалось в его зрачках — два крохотных дрожащих огонька. Ланской сидел, положив руки на стол, — спокойно, но пальцы его были сцеплены так, что костяшки побелели. Штюрмер, напротив, откинулся на спинку кресла — он уже понял, что его партия проиграна, и теперь просто ждал развязки. Вяземский что-то чертил на полях бумаги — не цифры, а какие-то геометрические фигуры, треугольники и квадраты. Она потом спро-

сит его, что это было; он ответит: Рисовал будущее. Шувалов не шевелился — он умел ждать, как умеют ждать только военные: не пассивно, а собранно, как сжатая пружина.

И она сама. За отдельным столиком. С карандашом в руке. Ждала — и записывала.

47 секунд — это очень мало. За 47 секунд не произнести речь, не написать письмо, не принять ванну. Но за 47 секунд можно решить судьбу ста сорока миллионов человек. Можно выбрать путь, по которому империя будет идти следующие полвека. Можно дать внукам шанс — или отнять его.

47 секунд — и свеча даже не дрогнула. Воздух в Малахитовой гостиной стоял недвижно, как вода в пруду перед грозой. И каждый из присутствующих знал: когда эта тишина кончится, мир станет другим.

## 12. Малахит

Спустя годы — десятилетия — она вернулась в Малахитовую гостиную.

Это было в пятьдесят втором, кажется. Или в пятьдесят третьем. Она уже плохо помнила даты — они сливались в сплошную ленту, как кадры старой киноплёнки. Но сам ви-

зит помнила отчётливо.

Гостиная не изменилась. Тот же малахит на стенах — тёмно-зелёный, с прожилками, похожими на застывшие молнии. Тот же камин. Тот же стол. Даже свечи — другие, конечно, но такие же оплывшие, такие же кривые. Как будто время обошло эту комнату стороной.

Её провожал молодой архивариус — внук или правнук кого-то, кого она знала в молодости. Он говорил без умолку — о реставрации, о новых системах хранения, о планах сделать из Александровского музей. Она слушала вполуха и смотрела на малахит.

Камень помнил.

Это звучит как мистика, как суеверие, как старческая блажь. Она и сама так думала — до того дня. Но когда она вошла в гостиную и прикоснулась к холодной зелёной поверхности, её захлестнуло.

Не видения — нет. Скорее, ощущения. Запах свечного сала. Давление воздуха — того самого, неподвижного, спрессованного напряжением. Эхо голосов — Ланского, Государя, Шувалова, — не слова, а интонации, тембры, ритмы речи. И главное — ощущение присутствия. Она была там снова.

Не в пятьдесят втором — в шестнадцатом. Не старухой — сорокатрёхлетней женщиной, знающей, что следующие слова изменят всё.

Архивариус что-то спросил — она не услышала. Пришлось переспрашивать.

Я говорю: Вы, наверное, помните эту комнату другой?

Я помню её такой же, — ответила она. И это было правдой — самой точной правдой, которую она могла сказать.

Камень помнил. И она помнила. И память камня, и её собственная память — они слились в этот момент в нечто единое, неразделимое, настоящее.

Она больше никогда туда не возвращалась. Незачем.

### 13. Стенограмма

Документ, который она перечитывает сейчас, — окончательная версия, отредактированная, выверенная, заверенная личной печатью Государя. Не та, что она писала впопыхах, с пометками на полях и крестиками против особо важных мест. Та, черновая, хранилась отдельно — в личном архиве, в папке, которую она завещала Имперскому архиву с усло-

вием: вскрыть через пятьдесят лет.

Пятьдесят лет прошло. Внуки и правнуки могут прочитать.

Но прочитают ли? И поймут ли?

Она перечитывает стенограмму — и поражается тому, как мало слов на бумаге. Реплики, паузы, сухие фразы. Никаких описаний. Никаких деталей. Ничего из того, что она помнит так ярко: запах свечного сала, желваки на скулах Штюрмера, дрожащие пальцы Вяземского, неподвижность Шувалова, 82 секунды молчания.

Стенограмма — это скелет. Плоть, кровь, дыхание — всё это осталось только в её памяти. И когда она умрёт, умрёт вместе с ней.

Может быть, это и правильно. Может быть, история и должна оставаться скелетом — чтобы каждый век наращивал на него свою плоть, свою кровь, своё дыхание. Может быть, правнукам не нужно знать, как дрожала свеча. Им нужно знать только слова.

Но она-то знает. Она помнит. И пока она жива, та ночь живёт вместе с ней.

## 14. Возвращение

Она переворачивает последнюю страницу. Подшивка закончена. Стенограмма — исчерпана.

За окном темнеет. Снег всё идёт — крупный, пушистый, февральский. Не ноябрьский — ноябрь в её памяти остался бесснежным, промозглым, с ветром, задувающим в окна Александровского. Февраль — совсем другой. Февраль — это преддверие весны. Февраль — это надежда.

Ей восемьдесят четыре года. Она прожила долгую жизнь — гораздо дольше, чем рассчитывала в ту ночь, когда записывала слова, менявшие империю. Она видела, как эти слова прорастали — медленно, трудно, с задержками и сбоями, — но прорастали. Мир. Реформы. Ответственное министерство. Внуки, которые получили шанс.

И она знает, что история — это не счёт в банке. Проценты, о которых говорил Ланской, не начисляются автоматически. Их платят живые люди — своими решениями, своими ошибками, своей кровью. И платить будут всегда. Потому что каждое решение, принятое в одной эпохе, отзывается эхом во всех последующих.

Она закрывает папку. Прячет её в стол — туда, где лежат другие бумаги, другие стенограммы, другие воспоминания. Снимает очки. Смотрит на снег.

Свеча давно погасла. Но память о ней — о той, оплывшей, кривой, с неровным пламенем — осталась.

И пока она жива, пламя будет гореть.

Имперский архив, фонд Е.С. В., опись 17, дело № 2041. Стенограмма совещания при Государе от 19 ноября 1916 года. Гриф Вечность снят 19 ноября 1992 года.

Примечание публикатора: настоящий текст представляет собой литературную реконструкцию, основанную на стенограмме, дневниках Е.С.В. и воспоминаниях участников. Прямая речь участников совещания воспроизведена по стенограмме. Описания, диалоги и размышления Е.С.В. реконструированы на основе её личных дневников за 1916–1963 гг.

## ДОКУМЕНТ ВТОРОЙ: ТИШИНА

Тишина

1. Дождь

Дождь начался в четверть первого — мелкий, ноябрьский, ледяной, — и ротмистр фон Мекк, стоя у окна своей квартиры на Кирочной, подумал: хорошая примета. Дождь разгоняет толпу. Дождь прибывает звук. В дождь город спит крепче.

Он не любил дождь — он вообще мало что любил в этой жизни, если говорить откровенно, — но для работы дождь подходил идеально. Работа. Он уже называл это работой, хотя приказ был получен только три часа назад.

Ланской вызвал его в девять вечера — не в министерство, не в штаб, а на конспиративную квартиру на Фонтанке. Фон Мекк знал это место: третий двор, чёрная лестница, пятый этаж без лифта. Здесь проводили встречи, которые не предназначались для протоколов. Здесь говорили то, что нельзя было доверить даже стенам.

— У вас две недели, — сказал Ланской. Голос у него был сухой, как осенний лист. — Вчера Государь дал согласие на мирные переговоры. Через две недели первые эмиссары встречаются в Стокгольме. Когда новость дойдёт до Петрограда — а она дойдёт, слухи уже ползут, — столица должна встретить её спокойно.

— Вы хотите сказать: тихо.

— Я хочу сказать: никаких демонстраций. Никаких покушений. Никаких баррикад. Ни одного выстрела. Армия на фронте готова принять мир. Армия в тылу — не знаю. Рабочие кварталы — не знаю. Студенчество — не знаю. Ваша задача: сделать так, чтобы все они узнали о мире из газет, а не из прокламаций.

— И, если я не справлюсь?

Ланской посмотрел на него — долгим, нечитаемым взглядом. Он не ответил. Ответ был не нужен.

Фон Мекк вышел под дождь. Шагая по Фонтанке, он думал о том, что задача перед ним стоит не военная — хуже. Военная задача предполагает врага, которого видно. Здесь враг был везде — и нигде. Растворён в толпе. Размножен по кружкам и ячейкам. Спрятан в разговорах на кухнях и в очередях за хлебом.

За две недели можно либо проиграть войну, либо выиграть её. Но сделать столицу тихой — это не война. Это совсем другое ремесло. Старое, как власть. Грязное, как жизнь.

Он достал платок, вытер мокрое лицо и направился в сторону Литейного. Там, в здании Охранного отделения, его

ждал рабочий кабинет, телефонный аппарат и несколько человек, на которых можно было положиться.

## 2. Комната сто сорока трёх

Картотека Охранного отделения насчитывала без малого двенадцать тысяч фамилий. Двенадцать тысяч имён, кличек, псевдонимов — людей, которые когда-либо привлекали внимание полиции по политическим мотивам. От матёрых бомбистов до гимназистов, читавших запрещённые брошюры. От профессиональных революционеров до случайных попутчиков, угодивших в сеть по глупости или недоразумению.

Фон Мекк не собирался работать со всеми. Ему нужны были ключевые фигуры — те, кто в случае объявления о мире мог вывести тысячу человек на Невский в течение суток. Те, кто имел связи с рабочими кружками. Те, кто обладал авторитетом в студенческой среде. Те, у кого был доступ к оружию или типографскому оборудованию.

Он запросил дела. Ему принесли сто сорок три папки — тяжёлых, засаленных, пахнущих табаком и временем. Сто сорок три судьбы, разложенные по алфавиту и расставленные на стеллажах, как инструменты в анатомическом театре.

Трое суток он почти не выходил из кабинета. Читал. Сортировал. Раскладывал фотографические карточки на столе — лица глядели на него с мутной, вышедшей из моды бумаги, и каждое лицо что-то говорило. Одни — дерзко, с вызовом. Другие — испуганно, как будто уже знали, что их фотографируют для полицейского архива. Третьи — равнодушно, как люди, привыкшие к тому, что их жизнь разложена по папкам.

Он разделил их на три категории. Красная: сорок восемь фамилий. Организаторы, агитаторы, боевики. Те, кто способен не просто говорить, но и действовать. Их следовало изолировать немедленно — до того, как слухи о мире достигнут окраин.

Жёлтая: шестьдесят одна фамилия. Сочувствующие, посредники, связные. Те, кто не возглавит толпу сам, но поможет тому, кто возглавит. За ними нужно было установить наблюдение — плотное, круглосуточное. При малейшем движении — изоляция.

Зелёная: тридцать четыре фамилии. Колеблющиеся, разочарованные, идейно нестойкие. Те, кого можно купить, запугать или перевербовать. Враг, который работает на тебя, полезнее врага в тюрьме — эту истину фон Мекк усвоил задолго до того, как услышал её от Ланского.

Сто сорок три фамилии. Сто сорок три рычага, нажимая на которые, можно было удержать столицу в повиновении.

Или не удержать.

### 3. Ночной разговор

— Вы понимаете, что делаете?

Фон Мекк поднял глаза от бумаг. В дверях кабинета стоял полковник Герасимов — начальник Охранного отделения, его непосредственный руководитель, человек, прослуживший в политическом сыске двадцать шесть лет и видевший всё: от народовольческих бомб до эсеровских экспроприаций.

— Я выполняю приказ.

— Я знаю, что вы выполняете приказ. Я спрашиваю: вы понимаете, что именно вы делаете?

Фон Мекк отложил перо. Он не любил, когда его отвлекали — особенно такими разговорами. Но Герасимов был не из тех, кого можно игнорировать.

— Я обеспечиваю спокойствие в столице на период мирных переговоров. Что именно вас беспокоит, Александр Васильевич?

Герасимов прикрыл дверь, опустился в кресло — тяжело, как человек, который не спал много ночей.

— Меня беспокоит, — сказал он, — что вы используете методы, которые империя не простит себе через десять лет. Через двадцать. Через пятьдесят. Вы изолируете людей не за преступления, а за потенциальную угрозу. Вы вербуете осведомителей среди тех, кто ещё вчера был идейным врагом режима. Вы создаёте систему, которая, если она сработает, останется навсегда. Потому что ничто так не долговечно, как временные меры.

— И что вы предлагаете?

— Я ничего не предлагаю, — Герасимов встал. — Я предупреждаю. Я слишком стар, чтобы предлагать. Я просто хочу, чтобы вы знали: у каждой операции есть цена. И цена эта редко бывает написана в приказе.

Он вышел. Фон Мекк долго смотрел на закрывшуюся дверь.

Потом вернулся к спискам.

#### 4. Первая волна

Двадцать шестого ноября, в два часа пополудни, началась операция Купол. Фон Мекк сам придумал это название — не из любви к метафорам, а потому, что купол был техническим термином, ничего не говорящим постороннему. Купол — это свод, накрывающий пространство. Купол — это защита от внешней среды. Купол — это граница между порядком и хаосом.

Двадцать шесть адресов — по числу красных фигурантов, находившихся в столице на данный момент. Остальные двадцать два были либо на фронте, либо в ссылке, либо за границей. Ими займутся позже.

Группы захвата формировались по территориальному принципу: три жандарма, один офицер, один понятой из дворников. Дворники знали всё — кто где живёт, кто к кому ходит, где чёрный ход, где собака, где сундук с прокламациями. Фон Мекк лично инструктировал каждую группу: без шума, без стрельбы, без лишних свидетелей. В идеале — так, чтобы соседи утром не поняли, что кого-то увели.

— Формальное основание? — спросил один из офицеров,

молодой корнет с белесыми усами.

— Уголовное. Хранение оружия — у кого есть. Подлог документов — у кого нет. Найдите. У каждого из них есть что-то, за что можно зацепиться. Вы не политических арестовываете. Вы арестовываете уголовников. Запомните это. И пусть они запомнят.

Он знал, что это шито белыми нитками. Знал, что любой адвокат разнесёт эти обвинения в пух и прах — если дело дойдёт до суда. Но дело не должно было дойти до суда. Дело должно было дойти до Крестов — и там остаться. На месяц, на два, на три — пока не уляжется.

В четыре часа утра пришло первое донесение: все двадцать шесть задержаны. Без эксцессов.

В пять — второе: размещены. Одиночные камеры. Никаких контактов с внешним миром.

В шесть — третье: обыски дали материал. У кого-то — револьвер без разрешения. У кого-то — пачка прокламаций. У кого-то — поддельный паспорт. Мелочи, но достаточно.

В семь утра фон Мекк вышел из кабинета, спустился на первый этаж и вышел на улицу. Дождь кончился. Над Пет-

роградом вставало мутное ноябрьское солнце.

Город был тих.

Он закурил — первую папиросу за двенадцать часов — и подумал о том, что двадцать шесть человек провели эту ночь иначе, чем рассчитывали. Что их семьи сейчас не спят, гадая, куда исчезли мужья и отцы. Что за каждым именем в списке стоит живая жизнь — и он только что эту жизнь сломал.

Он затанулся. Выпустил дым в сырой воздух.

И подавил эту мысль — как давил сотни раз до того. Страдание — роскошь, которую оперативник не может себе позволить. Особенно когда на кону — империя.

## 5. Человек с фотографии

На одной из фотографических карточек в жёлтой категории был человек, которого фон Мекк знал. Не по делам — лично.

Алексей Петрович Горев. Инженер-путеец. Четыре года назад они вместе охотились в имении Вяземского — было какое-то межведомственное мероприятие, то ли совещание

по железнодорожным тарифам, то ли смотр путейского ведомства. Горев, оказался молчаливым, умелым охотником и приятным собеседником, когда они коротали вечер у камина с коньяком и сигарами.

Теперь Горев, значился в списке. Связи с эсеровскими кругами. Подозревается в передаче технической информации. Участие в организации забастовки на Николаевской железной дороге в январе 1916 г.

Фон Мекк долго смотрел на карточку. Лицо Горева — то самое, что он помнил по вечеру у камина, — глядело на него с анфас и в профиль, как положено в полицейском архиве.

Он мог вычеркнуть его. Просто взять и вычеркнуть — сказать, что информация не подтвердилась, что наблюдение не дало результатов, что фигурант не представляет угрозы. Один звонок — и Горев останется на свободе.

И что потом? Если Горев действительно связан с эсерами? Если в решающий момент он организует забастовку на железной дороге — той самой, по которой повезут демобилизованных солдат с фронта? Сколько людей погибнет из-за того, что он, фон Мекк, однажды выпил коньяка с приятным человеком?

Он не вычеркнул.

Он отдал приказ: наблюдение, круглосуточное, ближнее. При первой попытке контакта с известными эсерами — изоляция.

Горев так и не узнал, кто подписал этот приказ. И никогда не узнает — если только эта рукопись не попадётся ему на глаза. Но Горев, скорее всего, уже мёртв. Как и почти все, кто фигурирует в этих записях.

## 6. Ульянов

Двадцать девятого ноября фон Мекк отправился в Смольный.

Не арестовывать — беседовать. Ланской распорядился лично: Ленина не трогать. И пояснил: Он нам нужен как пугало для Думы. Смотрите, господа кадеты, с кем вы заигрываете. Или реформы — или вот это.

Фон Мекк понимал логику. Ленин был крайним полюсом — точкой, относительно которой выстраивалась вся политическая система координат. Пока он существовал, любые умеренные реформы выглядели разумным компромиссом. Убери его — и левые начнут искать нового лидера, возможно,

более опасного. Оставь — и он будет работать на тебя самим фактом своего существования.

Но понимать логику — не значит принимать её безоговорочно. Фон Мекк считал, что Ленина следовало изолировать вместе с остальными. Не потому, что он был опаснее других — наоборот, в практическом смысле он был слабее многих: без реальной боевой организации, без массовой поддержки, с кучкой сторонников, способных только на разговоры. Но он был символом. А символы обладают свойством перерастать самих себя.

В Смольном его встретили двое филёров — они вели Ульянова уже вторую неделю. Доложили: объект в библиотеке, работает с газетами. Никаких контактов, о которых следовало бы доложить. Живёт тихо, почти затворником.

— Проводите.

Ульянов сидел за столом, заваленным подшивками. Фон Мекк отметил про себя: швейцарские газеты за последний месяц, немецкие брошюры, что-то на французском. Готовился. К чему?

— Владимир Ильич? — он сел напротив без приглашения. — Ротмистр фон Мекк. Уделите мне сорок минут.

Ульянов поднял глаза. Без страха. Без удивления. С любопытством — острым, почти осязаемым.

— Я ожидал вас раньше. Или позже. Но ожидал. С чем пришли?

— С разговором.

— Только с разговором?

— Только.

Ульянов отложил газету — аккуратно, как откладывают хрупкий предмет. Снял пенсне.

— Тогда спрашивайте.

Фон Мекк не стал спрашивать. Он стал говорить. О том, что империя готовится к миру. О том, что реформы неизбежны. О том, что революционное движение стоит перед выбором: либо встроиться в легальный политический процесс, либо быть сметённым этим процессом.

Ульянов слушал молча. Иногда кивал — не в знак согласия, а в знак того, что понял мысль.

— Вы предлагаете нам капитулировать, — сказал он, когда фон Мекк закончил.

— Я ничего не предлагаю. Я описываю реальность. Через месяц империя будет другой. У вас есть месяц, чтобы решить, какой вы хотите быть в этой новой империи.

— Политические партии не меняются по расписанию, ротмистр. Мы не железная дорога, чтобы переводить стрелки по команде из министерства.

— Железная дорога тоже не всегда переводит стрелки по команде. Иногда она сходит с рельсов.

Ульянов усмехнулся — впервые за разговор.

— Вы умный человек. Жаль, что вы служите империи, а не идее.

— Идеи, Владимир Ильич, хороши в брошюрах. В жизни приходится иметь дело с фактами, а факты не всегда укладываются в идеи.

— Факты, — Ульянов подался вперёд, и его глаза блеснули тем самым, знаменитым, гипнотическим блеском. — Вы

думаете, что знаете факты. Вы знаете только то, что лежит на поверхности. Под поверхностью — тектонические силы, о которых ваши министры не имеют понятия. Вы можете купить тишину на две недели. На месяц. На год. Но вы не можете изменить направление истории.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.